

Оглавление

Пролог.....	7
Глава 1.....	8
Глава 2.....	34
Глава 3.....	74
Глава 4.....	116
Глава 5.....	158
Глава 6	199
Эпилог.....	235
Сноски.....	238

*Когда устаю, — начинаю жалеть я
О том, что рожден и живу в лихолетье,
Что годы растрачены на постижение
Того, что должно быть понятно с рожденья.
А если б со мной не случилось такое,
Я смог бы, наверно, постигнуть другое, —
Что более вечно и более ценно,
Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.*

Н. КОРЖАВИН

*Но, как известно, именно в минуту отчаянья
и начинается дуть попутный ветер.*

И. БРОДСКИЙ

Пролог

Резко свернув за угол, Костя нырнул в арку. Человек в сером пальто миновал арку, не останавливаясь. Костя немного подождал и вышел обратно, на главную улицу. Из-за старого дерева на другой стороне снова показалось серое пальто. Сомнений не оставалось — человек следил за ним, следил в открытую, не таясь.

Впервые Костя заметил его неделю назад, по дороге из школы домой. Человек в сером пальто сидел на лавочке в Ломоносовском сквере и читал газету. Костя прошел мимо, к мосту, но что-то во внешности человека удивило его, он остановился и оглянулся. Человек убрал газету и смотрел на Костю с таким же интересом, с каким Костя рассматривал его. Смутившись, Костя отвернулся и зашагал дальше. Перейдя мост, он оглянулся еще раз: странного незнакомца в сквере не было. Неделю Костя его не видел и почти забыл о нем. Сегодня человек объявился опять и вот уже четыре квартала следовал за Костей, не прячась, но и не приближаясь.

Пройдя еще квартал, Костя снова свернул в переулок и спрятался в арку. Переждав минут пять, он выглянул наружу и огляделся по сторонам. Серое пальто исчезло. Он вернулся из переулочка на улицу — никого не было. Постояв еще пару минут, Костя отправился домой. Родителям он решил ничего не рассказывать. Пусть это будет его и только его приключение.

Глава 1

1

Если дверь в отцовский кабинет не распахнута, а только полуоткрыта, то можно снять ботинки у порога, пройти по коридору на цыпочках и проскользнуть в свою комнату незаметно. Дальше становилось проще: и кухня, и ванная были в глубине коридора, и если не шуметь, не ронять отцовский велосипед, что падал с оглушительным грохотом, перегораживая проход, если не задевать подвешенные на стене медные тазы для варенья, что протяжно вздыхали от малейшего прикосновения, не налетать на морской сундук, о железные уголки которого мама постоянно рвала чулки, а Костя царапал коленки, то можно было жить в квартире до самого вечера, не встречаясь с отцом.

Отец был размерен и точен, как старинный брегет, что он носил в кармане жилета. Иногда Косте казалось, что эти часы и есть отец и, когда они перестанут тикать, отца не станет. На часы отец бросал последний взгляд перед тем, как заснуть, и первый, едва открывал глаза, на них посматривал во время любого, пусть и самого короткого разговора, словно считал минуты, секунды даже, что вынужден тратить на помехи, на отвлечение от главного, единственно важного — от работы. Поэтому, пробираясь тайком по коридору, Костя не чувство-

вал особых угрызений совести — отец был занят серьезным делом, куда более серьезным, чем выяснять, почему у сына четверка по физике или замечание в дневнике.

Иногда Косте хотелось спрятать часы и посмотреть, что отец будет делать. Он представлял, как отец ходит по квартире, беспомощно щуря близорукие глаза, заглядывает под стол, под шкаф, под большую кровать с балдахином в родительской спальне, потом садится в глубокое кожаное кресло в кабинете и спрашивает размеренным негромким голосом человека, привыкшего, что его слушают всегда и внимательно: «Хотелось бы все-таки понять — где же мои часы?»

«Хотелось бы все-таки понять» было любимым отцовским выражением. Понять ему хотелось многое: и как устроен мир, и как работает домовый комитет, и почему матери всегда не хватает денег, и отчего у Кости есть четверки в табеле.

Все, что ему хотелось понять про мать и Костю, он обычно выяснял за вечерним чаем. Ровно в восемь он выходил из кабинета, потягивался, шел на кухню, где уже суетилась мать, и говорил всегда одну и ту же фразу, Костя про себя называл ее вечерней молитвой: «Вечер добрый, голубушка. Я бы не отказался от стакана крепкого чаю. С каплей коньяка, если позволишь, адмиральский час пробил».

Мать улыбалась, прекрасно понимая, что ни ее позволения, ни даже ее согласия не требовалось, доставала из шкафа длинную прозрачную бутылку, ставила на стол рядом с тончайшего стекла стаканом в красивом серебряном подстаканнике. В стакане, в кирпично-красной густоте, желтой лодочкой плавала долька лимона, обязательно долька, а не кружок. Отец делал первый бесшумный глоток — удостовериться, что чай достаточно крепок и горяч, отвинчивал пробку на бутылке,

наливал ложечку темно-коричневой с золотистым отливом влаги, медленно, священнодействуя, опускал ее в чай, помещивал, потом так же медленно, давая каплям стечь в стакан, вынимал ложечку, делал еще один глоток, откидывался на спинку стула и спрашивал Костю: «Ну-с, чем мы можем сегодня похвастаться, молодой человек?»

В прошлом году, когда Костя болел корью и три дня лежал в темной комнате не выходя, он подсчитал от скуки: если отец начал задавать этот вопрос десять лет назад, когда Косте исполнилось пять, то он задал его уже 3563 раза. Можно было привыкнуть, но Костя так и не привык и подходящего, всегда годного ответа не нашел.

Третий день шестидневки был Костин любимый день: по третьим дням отец ездил в институт на семинары, и можно было приглашать домой друзей, не есть обед из трех блюд и не разговаривать шепотом. По третьим дням он влетал в квартиру, беззаботно-громко хлопая дверью, швырял на пол сумку и бежал в кухню, на ходу сбрасывая ботинки. Если мать была дома, она выходила из комнаты и тоже шла на кухню, они ели обед не как положено, а как попало, закусывали компот холодными котлетами, а суп — свежей французской булкой, недавно переименованной в городскую, и болтали обо всем на свете. Только об отце они никогда не говорили — слишком это было больно и трудно. После обеда, наскоро сполоснув тарелки, мать вела Костю в свою комнату, показывала сделанное за неделю.

Когда ее публично называли художником, мать смущалась и краснела, но наедине с Костей она расслаблялась, раскладывала на столе работы, терпеливо ждала, пока он разглядывал

крошечные филигранные пейзажи и натюрморты, потом спрашивала: «Ну?» — и видно было, как ждет она Костиной оценки, как важна ей эта оценка.

Иногда они рисовали вдвоем, мать за столом, Костя у мольберта, иногда Костя просто сидел и смотрел, как рисует мать, поражался отточенности, абсолютной выверенности ее движений, лаконичности крошечных мазков — на маленьком, с Костину ладонь, куске картона или пергамента она умела разместить такое количество людей, зверей, цветов и птиц, прорисованных с такой хирургической тщательностью, что Костя иногда думал, что в ее очки вмонтирован микроскоп.

Мать была близорука, но очки надевала, только когда рисовала, утверждая с улыбкой, что в очках мир делается слишком точен и не остается места для фантазии.

Фантазировать она любила и умела: в нижнем ящике Костиного письменного стола лежали двенадцать крошечных самодельных книг про приключения жеребенка Котильона, матерью сочиненные и ею же проиллюстрированные так ярко и весело, что лет до восьми это были любимые Костины книжки. Котильон рос вместе с Костей, учился бегать и прыгать, удирал из конюшни, путешествовал по усадьбе, ходил в ночное, его готовили к скачкам, потому что его отец был чемпионом и все ждали, что Котильон станет чемпионом тоже. Мама иногда называла Костю Котильоном, и жеребенок ощущался как названный брат, тот брат, иметь которого всегда хотелось, но которого не было.

Раньше книжки стояли на полке над кроватью, потом Костя убрал их в стол: ему казалось, что приходящие в гости одноклассники обращаются с книжками чересчур небрежно.

Отец их любви к рисованию не одобрял, хотя никогда не говорил об этом вслух. Эта странная скрытая нелюбовь занимала Костю так сильно, что он набрался смелости и как-то спросил отца: почему?

— Видишь ли, Константин, — медленно сказал отец, всегда звавший Костю только полным именем, — я считаю, что человек должен заниматься тем, что получается у него лучше всего. Так он может максимально реализовать себя и внести наибольший общественный вклад.

— А что у мамы получается лучше всего? — спросил Костя.

— Твоя мама и по характеру, и по темпераменту очень домашний человек. Любить своих близких, заботиться о них — ее истинное призвание.

— А если она будет рисовать, разве от этого она станет меньше нас любить?

Отец поморщился, но его собственное железное правило, неоднократно повторяемое, утверждало, что на каждый Костин вопрос должен быть дан честный ответ.

— Когда человек начинает что-то делать и ему кажется, что у него получается, то ему хочется продолжения, большего, лучшего. Сначала человек рисует, поет, пишет для себя, потом для друзей, потом ему хочется на сцену или на выставку.

— И что в этом плохого?

— От такого дилетантизма страдает главное дело его жизни. То, которое лучше всего получается. То, на котором должны быть сосредоточены все его душевные силы.

— Но ведь необязательно на выставку, можно так всегда — для себя.

— Представь, что я буду заниматься физикой для себя. Сидеть и писать в тетрадки свои теории, обсуждать их сам

с собой или с друзьями. Согласись, это смешно. Так почему же в других областях не смешно? Только потому, мой милый, что там более размытые критерии профессионализма.

Костя промолчал, отец постоял еще немного и вернулся в кабинет, явно довольный тем, что нашел убедительный аргумент. Но рисовать Костя не перестал, просто никогда больше не делал этого при отце.

Матери его рисунки нравились, она собирала их в отдельную папку, на которую приклеила одну из своих миниатюр: большую красную букву «К», всю в затейливых завитушках, арабесках, орнаментах, на светлом, почти белом фоне.

— Что ты будешь с ними делать? — спросил Костя.

— Отдам тебе. Когда тебе будет лет сорок, посмотреть на них будет очень любопытно.

— Даже если не стану художником?

— Ты уже художник, — сказала мать. — Каждый, кто рисует, — художник. Это не про умение, это про желание.

— А папа говорит, что все, что делаешь, надо делать хорошо.

— Ну конечно. Надо делать хорошо, надо учиться, надо, как говорит твой папа, совершенствоваться. Но подумай, вот самый первый человек, тот, который нарисовал мамонта на стене своей пещеры, плохо нарисовал, почти не похоже, сегодня даже дети рисуют лучше, — ведь если бы он его не нарисовал, если бы никто тогда его не нарисовал или нарисовал и стер, потому что получилось непохоже... ведь тогда ничего бы не было, правда?

— Правда, — улыбаясь, сказал Костя.

Ему нравилось, когда мать вдруг заводилась от какого-нибудь пустяка, начинала говорить долго и страстно, делаясь

сразу красивей и моложе, совсем молодой. Было очень просто представить ее одноклассницей, соседкой по парте, знакомой девчонкой. Такой, как Ася.

2

Ася была сестра. Не по рождению — по жизни. Сколько Костя помнил себя, столько он помнил и Асю. Отец ее работал вместе с Костиным отцом, а мать, Анна Ивановна, была давней подругой Костиной мамы. Дружили даже их няни, вместе гуляли в Некрасовском саду в те давние времена, когда он еще звался Греческим.

В «группу» к француженке они тоже ходили вместе. Француженку звали Екатерина Владимировна, но детство она провела в Париже, где ее отец был чрезвычайным посланником. Загадочные слова «чрезвычайный посланник» долго будоражили Костино воображение, и, когда мать объяснила ему, что это всего лишь помощник посла, он даже слегка расстроился.

Муж Екатерины Владимировны, известный инженер, участвовал в разработке плана ГОЭЛРО¹, руководил строительством электростанций, за что ему и семье простили неправильное происхождение и дворянские изысканные манеры. Костя его никогда не видел: в большой трехкомнатной квартире француженки детей пускали только в одну комнату и на кухню.

На кухне, раздавая им тарелки с аппетитным бульоном, в котором между золотых кругляшей жира плавали осенними листьями стружки моркови, Екатерина Владимировна всегда повторяла, вздыхая: «Цивилизованные люди не едят

там, где готовят пищу». К бульону прилагались крохотные румяные пирожки, которые нельзя было называть пирожками, а нужно было — профитролями. Когда Асе хотелось вредничать, она вставала, делала книксен и говорила ангельским голоском: «Мадам, так жрать хочется, нельзя ли еще пирожка?» Скандализированная мадам немедленно выставляла ее из кухни в коридор — подумать, как следует разговаривать воспитанной девочке. В коридоре густо висели на стенах портреты декольтированных дам в высоких прическах и усатых мужчин в парадных мундирах, и Ася рассматривала их долго и внимательно, изучала каждую пуговку на рукаве и каждую складку жабо.

Без Аси становилось скучно, и Костя тут же начинал думать, что бы такое сделать или сказать, чтобы его тоже выставили. Но смелости у него хватало редко. Кроме Кости с Асей в группе было еще четыре человека, два мальчика и две девочки, — правило это Екатерина Владимировна соблюдала неукоснительно: мальчиков и девочек в группе всегда было поровну, может, потому, что кроме французского она учила их еще и танцевать: вальс, мазурку, полонез. Костя всегда вставал в пару с Асей, и получалось у них лучше всех. Еще в группе учили читать, писать, рисовать, гуляли в Таврическом саду, собирали гербарии и рисовали птиц и котов. На Новый год Екатерина Владимировна тайком ставила елку и устраивала спектакли: то по басням Крылова, то по «Синей птице», то по сказкам Пушкина. Современной детской литературы она не признавала. Когда Костина мать принесла ей Чуковского «Айболита», Екатерина Владимировна долго разглядывала обложку, потом надела пенсне, всегда висевшее у нее на шее на тонком шелковом шнурке, пролистнула две

страницы и вернула книжку матери, сказав голосом ядовитым и извиняющимся одновременно:

— Стара я, сударыня, для такой литературы, уж не обес-судьте.

В группу Костя проходил три года, а потом отец решил, что пора идти в школу. Мать попробовала возразить, отец сказал:

— А мы сейчас спросим виновника сомнений, — поманил Костю пальцем и спросил: — Ты куда больше хочешь, Константин, в группу или в школу?

— В школу! — крикнул Костя.

В школу ходили все мальчишки со двора, там учились по проектам, там были октябрюта, пионерский отряд и ученический комитет, учителей в школе называли смешными кличками, не было никаких поклонов, бульонов и салфеток за воротник. Школа казалась самым интересным местом на свете.

— Ну вот видишь, голубушка, — усмехнулся отец, и вопрос был решен.

Ася без Кости ходить в группу отказалась, но отдали их в разные школы. Костю — в третий класс в бывшую знаменитую гимназию, которая хоть и называлась теперь единой трудовой советской школой, от гимназического духа до конца не избавилась. В старых шкафах темного дерева еще стояли глобусы с ятями и лежали пирамидкой гирьки на фунты и золотники², а на тарелках в столовой можно было различить голубую тень гимназического герба. Среди учителей тоже легко вычислялись прежние, дореволюционные — по походке, по осанке, а особенно по интонации, по манере говорить. Многие все еще обращались к учени-

кам на «вы», требовали, чтобы ученики вставали, когда они входят в класс, и учком обсуждал каждый год, правильно это или неправильно, разрешать или не разрешать. Вечерами, шагая по длинному, гулкому паркетному коридору вдоль высоких стрельчатых окон, вполне можно было вообразить себя гимназистом в гимнастерке с широким ремнем и в щегольски промятой внутрь фуражке, в точности как рассказывал отец, любивший вспоминать гимназическую молодость. Школа Косте нравилась, несмотря на строгости и полчаса пути; за шесть лет учебы он не пожалел ни разу, что отец отправил его именно туда.

Асю же отдали в ближайшую к дому школу, Анна Ивановна сказала с улыбкой:

— Аська у нас дурочка, все поет да рисует, на другое у нее головы нет. Ей без разницы, какая школа.

— Аня! — воскликнула Костина мама. — Как ты можешь!

— Как я могу что? Говорить правду? Ты предпочитаешь, чтобы я дурила ей голову модными сказками о всеобщем равенстве?

Мать вздохнула и отправила Костю с Асей в детскую. Ася ушла неохотно, она любила слушать взрослые разговоры, а Костя обрадовался — Анну Ивановну он не любил, было что-то унижительное, почти стыдное в ее манере брать его за подбородок при каждой встрече, задирать ему вверх голову и повторять с усмешкой: «На чью-то беду растешь, ох на чью-то беду».

Разговор о школах Костя запомнил и вспоминал его часто. Ася совсем не казалась ему глупой, хотя училась плохо, из класса в класс переползала с трудом, большей частью из-за рассеянности: она постоянно все забывала и путала. Учителя ее

не любили, и Костя мог понять почему: в ней не было ни страха перед школой, ни любви к ней, ни уважения, лишь спокойное равнодушие, с каким терпят неизбежные мелкие неприятности. При этом читала Ася не меньше Кости, знала даже больше, хотя знания ее были странные, непривычные, ненужные.

— Знаешь, кто такие вестипликации? — спрашивала она Костю. — Это профессиональные укладчики тоги, рабы, которые укладывали тоги на патрициях красивыми складками.

Костя пожимал плечами, она вздыхала, делала следующую попытку:

— А что такое тога кандида, знаешь? Это тога, которую специально мелом отбеливали, в такой тоге ходили наниматься на должности всякие, вроде как на работу устраиваться. В Древнем Риме.

Костя смеялся, она сердилась:

— Зря смеешься. Между прочим, все твои кандидаты во всякие депутаты оттуда пошли, от тога кандида.

— Почему это они мои? Они всенародные.

— А кто перед выборами по домам ходил, списки сверял?

— Так это ж комсомольское поручение.

— Я, например, не в комсомоле.

— Это потому, что ты отсталая и темная.

— Нет, просто я независимая.

— А я, значит, зависимый? — рассердился Костя.

— Ну тебе же хочется быть как все, — сказала Ася. — А мне не хочется.

— Тебе хочется не быть как все, — буркнул Костя. — Это то же самое, просто с другой стороны.

— Ого! — насмешливо протянула она. — Ты начал думать, Конс, поздравляю.

Сколько бы они ни пререкались, как бы ни смеялись друг над другом, как бы ни вредничали, Ася была сестра, и казалось, что давнюю эту дружбу уже невозможно отменить, как невозможно отменить кровное родство. Вместе встречали праздники, вместе отдыхали, снимая на две семьи одну дачу в Юкках, вместе ходили в кино и на каток. Новый год они тоже всегда встречали вместе, и именно в Новый год впервые поссорились.

Мать решила поставить елку. Елки разрешили еще два года назад, но отец поосторожничал, ставить не велел. В прошлом, 1937-м, мать болела, лежала в жару весь декабрь, поднялась только в середине января. Нынче, словно чувствуя себя виноватой в том, что год назад все остались без праздника, она сама сходила на новогодний базар, выбрала густое красивое деревце, сама привезла его через полгорода на Костиных старых санках, сама наделала игрушек из папье-маше, так щедро, с такой любовью украсив елку, что даже отец, несклонный к публичным восторгам, не то чтобы ахнул, но как-то особенно громко выдохнул, войдя в столовую.

Болотины, как всегда, пришли втроем: Борис Иосифович, Анна Ивановна и Ася. Борис Иосифович галантно поцеловал матери руку, объявил, что целует чистое золото и нет такого чуда, которое вот эти нежные ручки сотворить бы не могли, и удалился с отцом в кабинет, пить для аппетита коньяк и говорить о работе. Анна Ивановна обошла елку три раза, сказала:

— Удивляюсь тебе, Татка, как только ты...

— Новое платье! — быстро перебила мать. — Хочешь, я покажу тебе мое новое платье? Для дома оно слишком нарядное, я не надела.

Она утащила Анну Ивановну в спальню, Костя с Асей остались в гостиной одни. Ася потрогала елку, понюхала ветку, сказала:

— Дурацкий обычай! Сколько деревьев зря губят.

— Почему зря? — возразил Костя, обидевшись за мать. — Ради праздника.

— Можно праздновать без елки. Раньше без елки праздновали — и что, плохо было?

— Плохо.

— Ты споришь, чтобы спорить, Конс. В глубине души ты со мной согласен. Это пережиток, варварство, диверсия против природы. Ты подумай, на один Ленинград ушел целый лес. А на всю страну?

— Почему ты всегда портишь праздник? — спросил Костя. — Почему нельзя просто радоваться? На Первое мая ты говорила, что рабы празднуют свое рабство, День Конституции обозвала праздником, которого нет. Даже к юбилею Пушкина цеплялась. Вот услышит тебя кто не надо, и тебе всыпят, и родителей загребут, привлекут за неправильное воспитание.

— Уж не ты ли будешь этот кто не надо? — иронически подняв бровь, поинтересовалась Ася.

— Что за чушь! — возмутился Костя.

— Ну почему же, — легким светским тоном сказала она, — ты же правильный, а правильные должны проявлять бдительность и эту, как ее, принципиальность. Товарищ Сталин сказал, что каждый гражданин обязан сообщать, выводить врагов на чистую воду.

Костя обиделся всерьез, весь вечер просидел надутый и две недели с Асей не разговаривал, даже пропустил — впервые в жизни! — две среды.

Календарь в стране менялся, разноцветные плавающие пятидневки сменялись пятидневками фиксированными, потом шестидневками. Вне дома так они и жили: первый день шестидневки, второй, третий. А дома и у Аси, и у Кости понедельники оставались понедельниками, а среды — средами. По средам они играли в солдатиков.

В детстве, незапамятно давно, это были просто солдатик, обычное оловянное войско, слегка разбавленное отцовским наследством: раскрашенными немецкими драгунами и гусарами. Солдатики строили редуты из картона, стреляли друг в друга горошинами сквозь бумажные трубочки, а потом кончалось сражение, из набитой ватой коробки извлекались Асины фарфоровые куколочки и начинался бал. С годами игра становилась сложнее, редуты и пушки конструировались в точном соответствии с описанием, а платья для принцесс и пастушек — в соответствии с исторической модой. Теперь уже и Костя знал, что такое фишмы и букли, а Ася понимала, чем мушкет отличается от мушкетона. И сражения теперь устраивались не простые, а исторические, к которым они долго готовились, ходили в читальный зал, рассматривали картинки в старинных толстых фолиантах. Пока Костя копировал в специальную военную тетрадь схему расположения войск, Ася разглядывала рукавички и оборки, срисовывала фасоны платьев и узоры вышивки.

Никого другого они в свои игры не допускали, закрывались в комнате, обычно у Аси — у нее и комната была побольше и посветлей, и родители поспокойней.

Анну Ивановну интересовал только экстерьер, как Ася это называла, а Борис Иосифович, как и отец, всегда был занят.

Друзей тоже не приглашали — Костя боялся насмешек, у Аси просто не было потребности, хотя подруг у нее хватало и дружбы ее искали многие.

— Я все знаю про моду, — объяснила она ему, — и у меня хороший вкус. Я вообще про одежду знаю все. Как римляне одевались, или греки, или французы. Вот для чего на рукавах пуговицы, знаешь? А стрелки на брюках откуда взялись? Или санкюлоты, например, это что такое?

— У них шапки были, — неуверенно сказал Костя. — Фригийские колпаки.

— Сам ты колпак. Кюлоты — это штаны такие короткие, их с чулками носят. А санкюлоты — это бесштанники, городская беднота. Именно они и штурмовали Бастилию.

— Я одного не пойму, Аська, — удивился Костя. — Как при таких знаниях ты умудряешься иметь удочку³ по истории?

— Какая разница, — отмахнулась Ася. — В институт я не собираюсь, я портнихой буду.

— Так тебя родители и пустят в портнихи.

— Во-первых, в шестнадцать лет я могу и не спрашивать. А во-вторых, у нас все профессии важны, забыл? Портниха — рабочий класс, я буду гегемоном. Между прочим, гегемон — знаешь, что такое?

Костя засмеялся, Ася бросила в него солдатиком. Обижалась она редко, никогда не интриговала и не кокетничала, как другие знакомые девчонки, но под настроение могла отбрить довольно жестко. При всем интересе к нарядам, прическам, манерам, в ней было много мальчишеского, простого и открытого, с ней было легко, как ни с кем другим. Среда была радостью, отменить ее могла только серьезная болезнь, с обычной простудой Костя все равно бежал к Болотиным, благо бежать было недалеко.

Но после Нового года он решил не ходить. Многое он мог простить ей, почти все, но не это, не обвинение в предательстве. Дома никогда не говорили о том, что происходит вокруг, словно не было ни черных машин-воронков, в зловещем ожидании стоящих под окнами, ни людей, исчезающих по ночам, ни бесконечных судебных процессов, ни еще более бесконечных митингов и собраний с требованием заклеить, осудить, расстрелять. За последний год из класса исчезло двое ребят, у троих забрали отцов, а у лучшего друга Кости, Юрки Розина, сначала забрали отца, директора завода, а потом и мать.

Два дня Юрка не приходил в школу, по классу поползли слухи, и Костя сразу после уроков отправился к нему, уверенный, что все это сплетни и вранье. Враги были где-то там, далеко, на процессах, это были бледные, мрачные, мятые люди, неразборчиво или, наоборот, слишком четко читавшие по бумажке свои страшные признания. Юркин отец, крупный, сильный, веселый человек, любитель волейбола, шахмат и украинских песен, никак не мог быть одним из них, и Костя бежал к другу без раздумий и опасений. Открыл ему Юрка, молча посторонился, пропуская в комнату. По разоренной, опустошенной квартире серым печальным привидением бродила Юркина мать, то поднимая с пола какие-то книги и бумаги, то бессильно выпуская их из рук. За ней ходила хвостом маленькая Юркина сестра, дергая ее за рукав и монотонно повторяя: «Мамочка, не плачь, мамочка, не плачь». Дверь в одну из комнат была закрыта и заклеена бумажной лентой. Юрка провел Костю на кухню, не прячась, закурил в форточку.

— Это ошибка, — неуверенно сказал Костя. — Это точно ошибка.

Не глядя на Костю, Юрка пожал плечами.

— Напиши Сталину, — предложил Костя. — Он разберется. Ты же говорил, что твой отец Сталина знал.

Юрка усмехнулся, не ответил.

— Но как? — не выдержал Костя. — Почему?

— Говорят, сосед донес, — сказал Юрка, туша окурков в блюдечке, уже полным до краев изжеванных мокрых хабариков. — Он давно грозился, ему квартира наша нравится.

Не зная, что ответить, Костя посидел еще немного и ушел.

Теперь Юрка жил у тети, школу бросил, работал разнорабочим в типографии, и в те редкие разы, когда Костя забегал к нему или встречал его на улице, большей частью молчал, только смолил одну за другой дешевые вонючие папиросы «Север».

Костя начинал рассказывать про класс, про ребят, но молчание смущало, давило, и он тоже умолкал и быстро прощался. Юрка коротко кивал, пожимал ему руку, уходил, не оглядываясь, и Косте делалось неловко, даже стыдно, словно он сам, лично, в чем-то был виноват. Так обидно и неприятно ему было, что он даже пожаловался Асе.

— Все-таки ты дурак, Конс, — сказала она. — Дураковский дурак. Во-первых, он для тебя старается, зачем тебе дружить с ЧСИРом⁴. Я даже удивляюсь, что тетя Наташа разрешает тебе к нему ходить, мне бы маман точно запретила.

Костя собрался возразить, но вспомнил, как странно, с какой-то испуганной нежностью смотрела на него мать каждый раз, когда он рассказывал, что был у Юрки, откашлялся и спросил:

— А во-вторых?

— Во-вторых, ты же сам говорил, что у него сестру собираются отправить в детский дом, а у тетки денег нет. Теперь

сам думай, интересно ему, как ты готовишься к испытаниям и что вы обсуждали на комсомольском собрании?

Ася вздохнула и отвернулась, уселась на подоконнике в любимой позе, поджав ноги и уперев подбородок в колени. Знакомый до мелочей горбоносый профиль ее на фоне заката вдруг показался Косте очень красивым и совсем взрослым.

А теперь она почти обвинила его в доносительстве, почти признала, что он на это способен, что он может, как Юркин сосед, написать, пожаловаться, донести. Даже если она шутила, это была непростительная шутка.

В третий вторник января, вернувшись домой, Костя прокрался на цыпочках в свою комнату и долго лежал на кровати не раздеваясь, сбросив только пальто и шапку. Ждал звонка с вопросом «Где ты?». Звонка не было, и он представлял себе, как Ася сидит на подоконнике, полускрытая занавеской, узор которой он мог воспроизвести по памяти с абсолютной точностью, и тоже ждет звонка — его, Костиного. Но и он не звонил. Позвонила она только поздно вечером, так поздно, что мать выскочила из спальни в ночной рубашке, с распущенными волосами, в небрежно наброшенном халате, который запахивала на ходу.

— Это Ася, Ася! — крикнул ей Костя, прикрывая ладонью трубку. Мать коротко, нервно выдохнула и вернулась в спальню.

— Куда ты пропал, Конс? — легким голосом, словно между прочим, словно и не было трех недель молчания, поинтересовалась Ася. — Все дуешься? Не дуйся. Пока тебя не было, я совершила еще несколько сомнительных по своей красоте и изяществу поступков, так что наш разговор — не исключение.

— Каких еще поступков? — испугался Костя.
— Всяких, — хихикнула она. — Так ты завтра придешь?
— Приду, — буркнул Костя и повесил трубку.

3

Дверь открыла Ася. С привычной легкостью, едва касаясь, чмокнула его в щеку, затащила в знакомую прихожую. Но что-то изменилось, сильно, круто, может быть, бесповоротно изменилось, он почувствовал это сразу, как только вошел.

От нее пахло духами — она и раньше душилась иногда, а в ответ на Костины порицания пела: «Девушки-голубушки, вы не мажьте рожи, лучше мы запишемся в союз молодежи!» Костя сердился, она смеялась: «Это комсомолкам нельзя, а я деклассированный элемент, мне можно».

У нее была новая прическа — короткая спереди, подлиннее сзади, с косой челкой, полностью скрывающей один глаз. Второй глаз, ореховый, длинный, блестящий, пристально смотрел на Костю.

И платье тоже было новое, взрослое, с подчеркнутой талией и красивым кружевным воротником, стянутым изящной серебряной брошкой.

— Ты что, в театр собралась? — удивился Костя.

— Я не уйду, я пришла, — объяснила она. — Раздевайся, проходи.

— Откуда пришла?

— Господи, Конс, ты зануден, как василеостровский немец. Раздевайся, наконец.

Он повесил куртку на вешалку, пригладил перед зеркалом волосы, вдруг ощущая себя маленьким, намного младше ее, хотя был младше всего на три месяца.

Войдя в комнату, она ойкнула и что-то быстро убрала со стола в ящик. Костя удивился, она промолчала, вытащила из-под кровати старый фанерный чемодан, в котором хранились все их сокровища, спросила:

— Выбираем или случайно?

— Случайно, — сказал Костя.

Она достала из чемодана шесть костяных кубиков, бросила. Выпало 21, битва при Алмейде. Костя взял картонные заготовки, собрал крепость, расстелил голубую ленту реки и принялся расставлять разноцветных уланов и гусаров, они всегда были французами. Расположив внутри крепости оловянных англичан и португальцев, он начал ставить пушки. Ася не помогала, сидела на кровати, поджав ноги, разглядывала себя в зеркало.

Закончив приготовления, он зарядил пушку, дернул за веревочку. Горошина пролетела над крепостью и шлепнулась Асе в колени.

— Перестань, — отмахнулась она.

— Ты будешь играть или нет?

— Буду.

Она слезла с кровати, села на пол, но игру не начинала, просто сидела на полу и молча смотрела на Костю.

— Так откуда ты пришла? — спросил Костя, вертя в руках пушку.

Она все смотрела на него, не мигая, словно оценивая, сказать — не сказать, поймет — не поймет, достоин — не достоин. Потом потрянула головой так сильно, что челка снова соскользнула на глаза, и объявила:

— Понимаешь, Конс, я влюбилась.

От неожиданности Костя дернул за веревочку, горошина вылетела с низким свистом и стукнула Асю в лоб.

— Дурак, — сердито сказала она. — А если бы ты мне в глаз попал?

— В кого влюбилась? — спросил Костя, сжав пушку в кулаке так сильно, что картонное дуло, громко чавкнув, переломилось пополам.

Она протянула руку, шлепнула его по ладони, выбив из руки пушку, сказала со вздохом:

— Так я и знала.

— Что знала?

— Что ты обидишься.

— И вовсе я не обиделся. Просто хочу знать — в кого. Что, нельзя?

Она помедлила еще немного, потом встала, достала из ящика стола фотокарточку, протянула Косте.

— Это кто? — спросил Костя, разглядывая молодого человека в светлом костюме, с гладко зачесанными назад волосами, с короткой щегольской бородкой, что картинно держал сигарету меж двух наманикюренных пальцев. — Что за хлыщ?

— Никакой не хлыщ. Это Арик, Арнольд. Он студент-химик.

— Интересно, как он опыты ставит такими наманикюренными ручками, — сказал Костя и сам удивился, как зло и жалко прозвучали его слова.

— Не расстраивайся, Конс. Мы же все равно останемся друзьями. Ведь ты же сам говорил, что мы как брат и сестра. Ведь говорил же, говорил? — повторила она почти умоляюще.

— Говорил, — буркнул Костя. — Я пойду, что-то нет у меня настроения играть.

Он разобрал крепость, сложил части обратно в чемодан, ссыпал туда же солдатиков, все время чувствуя на себе Асин пристальный взгляд. Она вышла в коридор проводить его, сказала:

— У нас такая великая-развеликая эпоха жизни, что ревновать мелко, Конс.

— Я ревную? — возмутился Костя. — Да мне плевать с шестнадцатого этажа.

Выйдя на улицу, в мокрую, промозглую ленинградскую зиму, он поплелся домой, размышляя, почему у него так скверно на душе. Влюблялись они оба и раньше, делились друг с другом, давали друг другу советы, как Ася говорила, «с той стороны». Но никогда прежде, ни в первый раз, когда ей вдруг понравился новый, перешедший из другой школы одноклассник, ни во второй, когда она так же внезапно и неожиданно увлеклась братом подруги, не саднило так внутри. О прежних ее влюбленностях он узнавал заранее, иногда ему казалось, что даже раньше, чем она сама. Прежние приятели не забирала ее совсем. Она ходила с ними на каток или в кино, держалась за руки, даже позволяла целовать себя в щеку, но все равно оставалась рядом, близко, рассказывая Косте о своих приключениях и переживаниях, как о каком-то интересном эксперименте. А теперь ее рядом не было, она отделилась, удалилась, ее словно отрезали от него, и в том месте, где раньше была она, вдруг сделалось больно и пусто.

Дойдя до дома, он вошел в парадную, постоял, отогреваясь у батареи, но подниматься не стал, вернулся на улицу, теперь уже в полную темноту, в дрожащий, неровный свет

фонарей, и пошел бродить улочками и переулками, твердо следуя с детства заученному правилу — если сворачивать строго поочередно то направо, то налево, рано или поздно выйдешь к Неве.

Когда он был помладше, мать любила гулять с ним по городу, показывала, рассказывала, затаскивала его во дворы, заглядывала в парадные. Улицы и дома оживали в ее рассказах, в них жили знакомые люди — Пушкин, Гоголь, Серов, Чайковский, декабристы, народовольцы — все они дружили, любили, спорили, писали, рисовали — и город тоже оживал, освещался скрытым, затаенным светом, словно множество прекрасных людей, некогда ходивших по его широким проспектам и узким улочкам, навсегда оставили в нем частицу своего огня.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивал Костя.

— Я же родилась здесь и выросла, — улыбалась мать.

— И тебе рассказала бабушка?

При упоминании о бабушке с дедушкой мать всегда мрачнела и поворачивала к дому. Говорить о родителях она не любила, только однажды упомянула вскользь, что дедушка был ученый и моряк. В материнской шкатулке, единственной вещи в доме, которая запиралась на замок, лежала старая фотография, наклеенная на коричневый твердый картон, с витиеватой надписью «В. К. Булла» в правом нижнем углу. На фотографии моложавый мужчина с короткой бородкой, в строгом костюме-тройке сидел на жестком деревянном диванчике перед изящным столиком на гнутых резных ножках. С другой стороны стола, странно далеко от мужчины, сидела женщина в платье из тяжелой блестящей ткани и в шляпке с пером. Было видно, что ей хочется казаться серьезной, но у нее не получалось, и, чтобы не засмеяться, она вцепилась рукой

в столик и наклонила голову. Другой рукой она обнимала за плечи девочку лет восьми в платье с кружевными рукавами, и только девочка-мама смотрела прямо в камеру, словно ждала обещанной птички.

На все Костины расспросы, где бабушка с дедушкой, что с ними, мать неизменно отвечала:

— Там, откуда нет возврата.

— Они умерли? — спрашивал Костя.

— Они там, откуда нет возврата, — повторяла мать.

Со временем любопытство угасло, тем более что никакого следа в его жизни бабушка с дедушкой не оставили: не было ни вещей, ни писем, ни подарков, только фотография. Долгое время он был уверен, что Булла — это девичья фамилия матери. Лишь в третьем классе, увидев знакомый вензель на фотографии в доме одноклассника, он понял, что это фамилия фотографа.

Об отцовских родителях Костя знал больше. Дед был директором частной гимназии в Казани, бабушка преподавала там же русский язык, оба погибли от попавшего в их дом случайного снаряда, когда белые отбивали город у красных, или красные у белых — отец, уже работавший в ту пору в Петербургском университете, так и не смог этого выяснить. В анкетах он писал: «Родители убиты белогвардейцами», несколько смущенно объяснив Косте, что так проще. Вместе с родителями погибли две младшие сестры отца, так что и с отцовской стороны родни у Кости не осталось и рассказать о том, как ему странно, плохо и больно сейчас, было решительно некому.

С отцом говорить было невозможно. Он, конечно, выслушал бы, внимательно и серьезно, как все, что он делал,

и посоветовал бы «выкинуть из головы этот вздор и сосредоточиться на чем? Правильно, молодой человек, на учебе. Поскольку она что? Правильно, единственный залог успешного будущего». Эту учительскую манеру разговаривать вопросами Костя не выносил до такой степени, что предпочитал не общаться с отцом вообще.

Мать бы тоже выслушала и посочувствовала и пожалела, но ему не нужны были ни сочувствие, ни жалость, он хотел понять и все бродил и бродил по вечернему городу, все думал и думал, чем так задел его этот наманикюренный светлоглазый Арнольд. Почему-то было трудно дышать, словно кто-то невидимый прижал его коленкой, и невозможно было сбросить эту коленку, невидимую, неосязаемую.

Свернув очередной раз налево, он вышел на проспект Чернышевского, к бывшей церкви. Как-то мать заставила его пройти весь проспект, чтобы отыскать дом, в котором раньше была церковь, и он нашел его, догадался сам, без всяких подсказок, и с тех пор всегда приостанавливался, когда проходил мимо, как бы говоря дому «привет».

Сразу за церковью стояла коричневая громада нового хлебозавода «Арнаут». Полгода назад, когда они с матерью добрались, гуляя, до только что построенного здания, вдруг оказалось, что Костя знает это слово, «арнаут», а мать не знает. Костя думал, что она расстроится, но она обрадовалась, сказала с заметным удовольствием: «Как здорово, что ты перестал быть кукушонком». И добавила торопливо: «Все дети — кукушата, это естественно».

Выйдя на Воскресенскую набережную — нынче она называлась Робеспьера, но мать никак не могла привыкнуть к новым названиям, все время путалась, и Костя выучил и те и дру-

гие, — он перешел дорогу, подошел к парапету, спустился к реке по широким ступеням, сел на влажный холодный гранит. Далеко слева темной дугой возвышался Литейный мост, по нему медленной, сытой золотисто-черной пчелой полз трамвай. Справа набережная уходила в темноту, в тупик. Он встал на лед, ощутил смутное, едва различимое дрожание — под толщей льда неслась к морю Нева, и, если прислушаться, можно было услышать легкое гудение мчавшегося на свободу потока. Посреди огромного города с миллионом жителей он был один. Один на один с рекой, один на один с природой, один на один с собой. Когда он был маленьким, рядом всегда была мать, знала ответ на любой вопрос, могла утешить в любом горе. Потом он вырос, но был Юрка, с которым можно было говорить о чем угодно без стеснения и страха. И Ася, всегда была Ася. Он снова вспомнил фотографию, стукнул кулаком по мраморному шару, стоявшему на нижней ступени, чувствуя себя обманутым, обворованным, понимая, что прошлая жизнь кончилась, оборвалась и никогда уже не будет как раньше. Давным-давно, лет в семь, он спросил мать: «А как я узнаю, что уже вырос?» «Ты узнаешь, — улыбнулась мать. — Ты поймешь». Теперь он понял.

Глава 2

1

Полночи он не спал, заснул под утро, проснулся с больной головой и без голоса. Мать заставила померить температуру, он додержал градусник до 38,2, отдал матери и облегченно откинулся на подушку — в школу можно было не ходить.

Школа не мешала ему, как мешала она Асе, ему даже нравилось ощущать себя частью чего-то большого, сплоченного, кипучего. На демонстрациях, в нарядной веселой толпе, на физкультурных парадах, наблюдая четкие, слаженные движения сотен, тысяч молодых красивых людей, было легче верить, что и он вправду живет в самой лучшей, самой сильной, самой справедливой на свете стране, а процессы, аресты, нехватки — это временно, это пройдет, надо только не останавливаться, постоянно идти вперед, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Когда на него накатывало подобное настроение, он начинал отмечать в дневнике всевозможные официальные годовщины, читал Ленина и с удвоенной старательностью выполнял комсомольские поручения. Но приподнятое настроение проходило довольно быстро, и до следующего праздника, до следующего парада он чувствовал себя недостаточно активным, недостаточно честным, недостаточно

старательным — недостаточным. В школе, с ее вечной суетой, собраниями, уроками, кружками, заседаниями редколлегии, это ощущение глохло, он был такой же, как все, один из всех, сидевшие рядом с ним одноклассники тоже не бросали учебу и не уезжали строить заводы на Урале или прокладывать метро в Москве. Учителя объясняли, что главное — учиться, и Костя учился, был лучшим в классе учеником. Наверное, за это он и любил школу — за ощущение причастности, за возможность быть лучшим.

Но сегодня ему было не до школы. Лежа в кровати в ночной пустоте, когда ничто не отвлекало и мысли не уходили в сторону, он решил, что Ася права: это ревность. Но не та ревность, не мужская, о которой думала она, а ревность брата, потому что какому брату понравится, когда его сестра бузит с таким хлыщом.

Лекарство от ревности он тоже себе придумал за эту долгую бессонную ночь — надо было срочно влюбиться.

Мать принесла свежую газету и горячий чай. Костя выпил чай, чувствуя, как с каждым глотком растворяется, тает колющий сухой ком в горле, равнодушно пролистал газету. Все то, что казалось важным еще три дня назад — выборы в Верховный Совет, новое правительство, новые планы, — опять ушло в тень, отступило перед живым, больным и горячим — как быть с Асей.

Он протянул руку — в узком пенале комнаты даже вставать с кровати не надо было, — взял со стола прошлогоднюю фотографию класса в синей картонной рамке, откинулся на подушки и принялся рассматривать знакомые лица. Сначала отбросил тех, в кого уже был влюблен в прошлом